

## Ф. МАКОВСКИЙ

### Что такое русское декадентство

Чтобы хорошо узнать свойство жизни растения, надо изучить его на той почве, на которой оно растет; оторвавши его от почвы, вы будете иметь форму, но не узнаете вполне его жизни.

*Н. А. Добролюбов.  
Луч света в темном царстве*

Эротический элемент, проходящий красной нитью по многочисленным произведениям декадентов, не составляет, как это принято думать, основной и непрменной черты этой литературы, но основной чертой является отрицание всякой общечеловечности и проповедь крайнего эгоизма настолько, что личное «я» поэта сливается с абсолютом. Эмансипированная в таком духе личность не знает никаких общественных идеалов и презирает всякие общественные обязанности. Мы постараемся в кратких чертах выяснить, какие условия создали людей нового склада, так глубоко чуждых лучшим заветам нашей интеллигенции и по своему духу, и по своим взглядам. Для нас, русских, это тем более удивительно после эпохи народолюбия и тех жертв, которые были принесены ее прогрессивнейшей частью. Невольно является вопрос, кто же эти Иваны, не помнящие родства?

За невозможностью установить преемственную связь с идейным течением господствовавшей литературы литература наших декадентов и рассматривалась преимущественно как подражательное явление западным образцам и, главным образом, произведениям французских декадентов. Резкое несходство с веками установившейся моралью, повышенная чувственность и преклонение перед собственным «я», доходящее до самообожания, приводилось в этих случаях в доказательство полной неуравно-

вешенности таких проповедников — «нового направления в искусстве», помимо нелепой и уродливой формы, в которую так часто облекались их произведения под видом «новой красоты». В виде объяснения к широкому распространению антисоциальных принципов этой литературы указывалось на то, что усложнившаяся жизнь последнего времени и усилившаяся борьба за существование и дает усиленный процент нервных больных. Здесь, однако, упускалось из виду, что эти антисоциальные принципы, кто бы ни был случайно их первоначальным глашатаем, имеют широкое распространение только в известной среде и чужды другой, что этот психоз есть как раз достояние именно наиболее зажиточных классов, преимущественно же городской богатой буржуазии, и что если в этой среде мотивы «блаженно-извращенных наслаждений» и своеобразное исповедание — «все дозволено» находят отклик в душе и вызывают подражание, то в среде сознательной «трудящейся» массы и трудящейся интеллигенции самый страстный протест и негодование. Важно, наконец, не констатирование простого факта психической эпидемии в обществе и ее форма, а ее содержание. Сказать же о том, что такой-то маньяк, другой алкоголик, а третий просто неуравновешенный, это значит ничего не сказать. Какой уравновешенный и какой неуравновешенный; есть маньяк и маньяк, алкоголик и алкоголик. Ведь и Гаршин, и Гл. Успенский были больны, Достоевский всю жизнь был неуравновешенным, но никто из них не воспевал ни «прелести зла», не отрицал общественных идеалов, подобно певцам этих «новых путей». Нервнобольные и неуравновешенные были всегда, но декадентов у нас создали только 80-е годы. В иную пору общественного существования, напр. в 60-х годах, та же литература французских декадентов, во главе с своим знаменитейшим представителем Бодлером, не только не вызывала у нас подражания, но и просто хоть какого-нибудь внимания к себе. В самой Франции она получила широкое распространение и право гражданства в печальную эпоху 70-х годов, эпоху — по прекрасному определению Золя — «добычи, брошенной собакам». Дело-то в том, что «прелести зла» г. Мережковского и «кинжальным словам» г. Бальмонта и прочих в литературе предшествовали у нас в общественной жизни «разбойничьи проекты» и те «огромные челюсти», о которых говорит Гл. И. Успенский. Вот с этой-то стороны мы и вправе рассмотреть ту особую обстановку и условия существования, в которых выработались и сформировались особые, «освобожденные» от всяких общественных чувств души новых людей, по выражению г. Бальмонта, с душами «андрогины».

Уже в 70-х годах, времени, непосредственно предшествующем новой литературе, отмечено появление на сцене жизни нового класса, враждебного всему веками сложившемуся укладу, глубоко по самой сущности индивидуалистичного, в основе существования которого лежала энергичнейшая «борьба всех против всех». Этот класс, прекрасно изображенный со стороны своего внутреннего содержания Успенским и Щедриным, явился представителем новых форм развертывавшейся жизни, идущей на смену отживавшему натуральному хозяйству народа.

За победоносным шествием нового человека тянулись бесконечные могилы всего, что было дорого целым поколениям, с чем веками сроднилось сердце. И какую же иную мораль, кроме волчьей, мог выработать для своего поведения этот класс, живший грабежом и природы, и человека, и старых форм жизни! Следуя слепо и, так сказать, инстинктивно за ходом исторического процесса, преследуя свои узкие эгоистические интересы, это олицетворение тупости выражало разум — разум времени, ничтожество само по себе стало огромной силой и было стремительным потоком новых форм жизни взнесено далеко в верх общественной пирамиды. Представитель накопления, носитель денежного мешка и предприниматель скоро увидел повергнутыми перед собою во прахе лучшие надежды благороднейших людей, веривших в возможность остановить начавшийся процесс, разрушенные теории замечательных умов, и в его собственном невежественном уме родилось глубокое презрение ко всем выводам общественной науки, ко всем общественным задачам, наряду с преувеличенным понятием о значении личности и верой в свое особое предназначение как избранника жизни. В 80-х годах, когда впервые раздался голос молодой музыки, денежный мешок одержал решительную победу на всех пунктах в качестве представителя «трезвых взглядов», был приглашен в красный угол и оттуда скоро дал тон всей жизни.

Переоценка всех ценностей уже фактически была им совершена, она только требовала своего идейного выражения. Пессимистические мотивы искалеченных людей, погибавших под развалинами «устоев» старой жизни и выраженных ими идеалов, скоро сменились торжествующим «гоготанием» и «кровожадными гримасами», употребляя позднейшее выражение кн. Урусова, молодых отпрысков золотого мешка, благополучно почившего на лаврах. «Шире дорогу, восьмидесятник идет!» — так заявлял теперь «старому поколению», между прочим в письме к Шелгунову, «молодец», ворвавшийся и на литературную ниву, в область мысли и творчества.

Под нагроможденными обломками натурально-хозяйственной жизни народа пробивалось пока еще едва заметной струйкой могучее течение, имевшее своим руслом именно эти новые формы капиталистической жизни и служившее прямым продолжением народничества, но растерявшаяся интеллигенция в массе своей этого не видала: перед ней непосредственно в самых глазах стояли «громоздкие челюсти концессионеров», разметавшие в щепки вековые «устои», «разбойничьи проекты» и ее собственные, так сказать, «помраченные кумиры». Идти, казалось, некуда; приходилось или замыкаться «в свою скорлупу», тянуть скучные, безнадежные дни, убивая время на что-нибудь «серенькое, заурядное» и уже не пытаясь даже, как говорит чеховский Иванов, «бороться с ветряными мельницами», «бить лбом об стену» или, напротив, приспособливаться к новым условиям жизни, а для этого предварительно приспособить свою душу.

Убедившись в неизбежности крушения тех лучших начал жизни, которые интеллигенция привыкла называть добром, она, в лице своих многочисленных представителей, стала уже признавать неизбежность и «необходимость зла»; она видала, что в новых условиях существования есть силы стихийные, господствующие над волей людей, и прониклась мистикой и фатализмом, еще так недавно щеголявшая самыми крайними материалистическими воззрениями. Она даже совершила паломничество к святыням мистической философии и немецкого реакционного романтизма, но зато твердо укрепилась в новой вере. И нужно было иметь огромный запас нравственных сил и великий энтузиазм духа той трудящейся интеллигенции, тому славному «авангарду», чтобы после жестокого «не суйся!» не изменить своему «положительному делу», завещанному еще Чернышевским, не забыться «позорным покоем», и в эту эпоху отступничества, измены, великого бесстыдства и невероятного гнета идти все так же непоколебимо «в стан погибающих за великое дело любви». Вот, если мы желаем понять переход тех самых поэтов, подобно гг. Минскому и Мережковскому, от проповеди широкой общественной деятельности и борьбы за право и справедливость к отрицанию всякой общественности и даже воспеванию «прелести зла», необходимо иметь в виду, что в общественной жизни в 80-х годах одержали победу «разбойничьи проекты». О том, что интеллигенция в огромной своей *части* вступила на новый путь, что она, так сказать, продала свое первенство за чечевичную похлебку, об этом свидетельствовал уже Щедрин, который коснеющей рукой писал «забытые слова». В качестве «блудного сына» господствующих классов, усвоившего чуждую себе идею

логию, она предпочла поскорей возвратиться «назад», «домой» к упитанному тельцу, в сообщество той символически-пленительной Дриады, о которой говорит скорбный певец «Полпути», нежели с ногами, израненными «о горячий песок и об острый гранит», идти «все дальше и дальше», «безвестной дорогой своей, мимолетный соблазн презирая», в ожидании, что наконец «настанет пора и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь». Этой категории интеллигенция и стала воспевать вместо гражданских мотивов, в соответствии с «разбойничьими проектами» «дерзкий смех» и «прелесть зла» той новой жизненной среды, в которой ей приходилось жить и действовать.

Таким-то образом, «идеи правды и простоты», ставшие в 60-х годах, по выражению Успенского, «необходимостью для общества», превратились в 80-х годах для денежной среды во «вздорный бред угасших дней», выражаясь языком г. Лохвицкой. Своеобразный дух новой литературы и есть порождение своеобразного духа нового класса; в ней, как в зеркале, отражаются его характерные черты и его общественное положение. Индивидуалистическая литература западных декадентов, и в частности французских, — литература, по слишком строгому суждению Гюйо, — невежд, не сумевших даже уловить ни одной идеи, потому и встретила у нас такой радушный прием в известных слоях общества, что явилась своевременным предложением на настоятельный спрос. Роль ее, однако, значительно меньше, чем ей приписывают. Она только придала форму и выражение тем общественным настроениям, которые вытекли уже, так сказать, из классового существа и вторглись в обиход. Влияние этой литературы на произведения наших декадентов бесспорно, о нем говорилось много и подробно, но для нас этот вопрос, как чисто художественный, значения не имеет, и мы на нем останавливаться не будем. Индивидуалистическая философия, и в частности философия Ницше, в среде «разбойничьих проектов» легко превратилась в философию гоготания и сыграла роль фигового листа, прикрывающего полный нигилизм духа этой среды. Отсюда и понятно кажущееся на первый взгляд противоречие, каким образом все эти сверхчеловеки нашей современности прекрасно уживаются, по собственному признанию, с душами «измятыми, извращенными и пустыми», проводят жизнь, «как во сне, в большом тумане оьянения». Дело-то в том, что сверхчеловеческие чувства находятся в очень близкой зависимости от той исключительной обстановки, в которой находится человек, она легко переносится личностью на самое себя, и тогда уже человек вполне

искренно ощущает у себя особую душу, душу, напр., какой-нибудь «андрогины».

Ведь каждый данный пункт, характер или лик,  
Мы можем мысленно, по нашему капризу,  
И кверху продолжать и к низу.  
Я часто сам от скуки наблюдал,  
Как иногда моя меняется натура:  
Взберусь на верх — я мрачный идеал,  
Спускаюсь в низ — карикатура.

(Слова сатаны из «Д. Жуана» А. Толстого)

Сверхчеловеческие чувства давно уже дремали в глубине денежного мешка, а когда пределы его у нас расширились и они охватили собою всю жизнь государства, он открыто заявил о своих правах и преимуществах на жизнь в качестве представителя высшей расы, расы господ, избранных. «Я так хочу!» — заявлял он на разные голоса через своих трубадуров о новом законе жизни. «Как некий демон отсюда править миром я могу», — говорит у Пушкина «Скупой рыцарь» средневековья, указывая на сокровища своего подвала. Еще с большим правом это может сказать иной феодал современного капитализма, диктующий подчас свои условия целой стране; только «избранные» и сверхчеловеки этого строя, ощущающие у себя «демоническую силу», совершенно забывают о том, что в условиях социальной жизни сила — понятие не простое, индивидуальное и, так сказать, зоологическое, а социологическое. Заработная плата и основана на том предположении, что сын простого рабочего будет, как и отец, слабым человеком толпы, а сын какого-либо фабриканта, одним из избранных и наиболее сильных в жизни (разумеется, в смысле привилегий). Исполнение малейшего каприза, раболепство окружающих, отсутствие сильной противодействующей среды, все это легко наталкивает слабый ум на мысль о своем особом естестве; сама жизнь на каждом шагу подсказывает ему, что только некоторым — «избранным» все дозволено. Отсюда и понятно, почему из всех общественных течений наиболее сильная экономическая среда уловила прежде всего «намек на сверхчеловека», выражаясь языком г. Бальмонта, почему г. Брюсов даже заявляет:

Родину я ненавижу,  
Обожаю лишь сверхчеловека.

Но для тех, кто «полюбил пленяющий разврат с его неутоляющей усладой, с пренебреженьем всех преград», для тех скром-

ные одежды Заратустры служат только плохим средством мистификации. Они скорее скрывают под собой хищные лица удачливых кондотьеров, исповедующих в духе времени «все дозволено», подобных какому-нибудь С. Родсу, мечтавшему деньгами поработить все человечество. Там, где одним волею судеб предоставлено наблюдать жизнь с кровати, подобно г. Брюсову («наблюдая из кровати калейдоскоп людей и лиц, и поцелуев, и объятий»), да еще «в мире нездешних утех», там, естественно, должны быть и «поденщики, рабы нужды», там и должно вырабатываться понятие двойной морали — господ и рабов, избранных и толпы. Вот какая картина будущности рисуется в воображении этого поэта:

Громадный город — дом, размеченный по числам,  
Обязан жизнью (машина из машин!)  
Колесам, блокам, коромыслам,  
Приветствую тебя, земли желанный сын!

.....

Предчувствую раба подавленную ярость  
И торжествующих многообразный сон,  
Всех наших помыслов блистательную старость  
И час предсказанных времен!

.....

Да, нам не избежать мучительных падений,  
Погибели всех благ, чем мы горды!  
Настанет снова бред и крови и сражений,  
Вновь разделится мир на вражьи две орды.

.....

В руинах, звавшихся парламентской палатой,  
Как будет радостен детей свободных крик,  
Как будет весело дробить останки статуй  
И складывать костры из бесконечных книг.

Вполне естественное желанье — «уж коли зло пресечь, собрать все книги бы, да сжечь!» — со стороны тех избранных, чья жизнь проходит «в стенах изысканного вертепа, в атмосфере каких-то неясных духов». Наука ими уже неоднократно объявлялась обанкротившейся, — она ведь подкапывается под самый фундамент их существования. Взамен ее на сцену выдвигались — воскресающие учения средневековья: магия, кабалистика и, по утверждению того же г. Брюсова, даже «попытки сношений с невидимыми». Ни свет знания, приобретенный упорной работой, ни блеск творческой мысли, что вполне соответствовало бы психике трудящихся классов, освещает «новый путь» гг. избранных, а именно эти «попытки сношений с невидимыми» или

состояние экстаза, сомнамбулизма, снов, сновидений и т. д. И этот-то метод познания, выуженный у немецких идеалистов и романтиков, выдается за новое слово, за целое откровение!

Весьма понятно, что и та свобода, которую превозносила капиталистически-буржуазная среда нашего времени в лице своих трубадуров, вовсе не свобода личности, провозглашенная уже слишком давно — «не человек для Субботы, а Суббота для человека», это свобода двуногой особи и ее инстинктов. Понятие свободы в действительности очень сужено. Целый ряд запретительных статей существует для «избранных».

Не люби, не сочувствуй,  
Сам лишь себя обожай беспредельно, —

так наставляет г. Брюсов какого-то «бледного юношу со взором горящим». Подобные заповеди, выражаемые, разумеется, в самой разнообразной форме, мы встречаем у всех поэтов декадентов разных толков, больших и маленьких, будут ли то гг. Мережковский и Бальмонт, Брюсов и Сологуб, Гиппиус и Лохвицкая, Добролюбов и проч., и проч. Тщательно отгораживая себя от всех явлений окружающей жизни, требующей сердца и души, человек становится для своего развития в неблагоприятную обстановку, подобную [обстановке] глухонемых, и в результате широкий путь к нравственному идиотизму. В этом заключается сила господствующего класса, стремящегося удержать в своих руках занятую позицию, но в то же время и его слабость. За подавлением высших чувств животная сторона приобретает могущественное развитие и при сытой праздности половой инстинкт — в особенности. У поэтов он выражается в целом культе сладострастия.

Это счастье — сладострастье  
Эта пара — мы с тобой.

(Лохвицкая)

На почве полового пресыщения и общей скудости жизни и развиваются «хладный разврат» г. Брюсова и «блаженно-извращенные наслаждения» гг. Бальмонта, Сологуба и проч.

Отца ласкала дочь и сына мать,  
И тело к телу жаться было радо,  
В различности искусства обнимать...

.....

Таков (замечает г. Бальмонт) закон — иначе произвол —  
Особый вид волнующей приправы,  
Когда стремится к полу чуждый пол.



Вероятно, в силу этого «закона различности обнимать» г. Брюсов «тешится с козой», а г. Сологуб, хотя «черты лица его смешны и безобразны, но им волнуют жен и отроков соблазны».

От этой неограниченной ничем свободы полового чувства, которая теперь преподносится, как нечто новое, человечество отшатнулось уже слишком давно, на первых ступенях своей жизни; в силу простого самосохранения оно постаралось оградить себя от нее и моралью, и религией, и правом.

Свободный путь через «голубой альков» декадентства почти неизбежно ведет к желтым стенам больницы и к самому худшему и тяжкому рабству. Жрецы новой музыки, подыскивая идейное обоснование своим влечениям, серьезно полагают, что в этом именно и заключается протест против гнета и условностей жизни толпы и известный аристократизм духа. Но если вопросы нравственности, как непосредственно связанные с силами, здоровьем и отношениями между собой членов семьи, для трудящейся массы имеют огромное значение, потому что этим обуславливается самое существование и благосостояние работника и его семьи, то для капиталиста, располагающего чужим физическим и умственным трудом и часто даже вовсе не принимающего никакого участия в процессе производства, эти же вопросы поведения и личных качеств играют вполне второстепенную роль. Поэтому-то половая безнравственность капиталистически-буржуазной среды и отмечена чуть ли не всеми художниками слова и на Западе, и у нас. Проводя параллель с трудовой средой, Чехов в лице героя «Ариадны» справедливо замечает: «Городская же буржуазная интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наполовину она уже зверь и, благодаря ей, очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина малопомалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью; в своем регрессивном движении она стремится увлечь за собой мужчину и задержать его движение вперед. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводится к тому, чтобы выработать из нее зверя, т. е. чтобы она нравилась самцу и умела победить этого самца».

Это именно и есть слишком обыденный источник той «мистической ненависти» во взаимном отношении полов, которую подмечают в своей среде «певцы жизни, как во сне, в большом тумане опьянения». У г-жи Гиппиус есть «переводный» рассказ «Меса», прекрасно иллюстрирующий это полное «возвращение к первобытному состоянию» буржуазно-капиталистического обще-

ства. Потому-то мы и позволим себе в двух-трех словах передать его содержание.

«Честная девушка, — заявляет юная героиня этого рассказа, — особенно, если она дочь благородных коммерсантов, всегда должна быть весела и довольна» и повествует о том, как она «была блаженна сорок минут. Ну, может быть, тридцать семь или тридцать шесть — но не меньше». В пути ей приглянулся больной, но интересный иностранец, лечившийся на курорте, и «честная девушка, дочь благородных коммерсантов» отдается первому для нее встречному-поперечному тут же, в купе вагона, выдавая себя, со свойственной вообще буржуазным девицам конфузливостью, за проститутку. Вырученные таким путем по недоразумению деньги она жертвует на то, чтобы «убрать цветами подножие Мадонны», и заказывает мессу, в воспоминание авантюры — об исцелении болящего. Интересен взгляд дочери «благородных коммерсантов» на жизнь: «Довольство в жизни дается всем, а счастье, блаженство не всем. Зато кому оно дается — не зевай и помни. Дурачье! Требуют счастья — да еще длинного! Ну, ничего и не получают».

С полной наивностью мерзости половой жизни синонимизируются певцами этих «благородных» с любовью. Эпитеты «божественный, блаженный, небесный, нездешний» имеют слишком уже земной смысл и прилагаются только к ним, они являются их «постоянными» в этой литературе.

Вот, напр., г. Лохвицкая:

Я наслаждений знойных жажду  
Бессмертных ласк, бессмертных слов,  
Неописуемых видений, неповторяемых часов,  
Я знойных наслаждений жажду,  
Я жду божественного сна... и т. д.

Но атмосфера себялюбивого эгоизма и душевной тупости становится порою невыносимой даже для сверхчеловеков, вступивших, по выражению Бальмонта, «на путь неописуемых видений, блаженно-извращенных наслаждений». И вот тогда-то сквозь звуки «звериного гоготания» прорываются тоскливые нотки человеческого горя и одиночества. Такие, однако, душевные настроения поэтов вполне правильно определены г. Гиппиус только как «минуты уныния, минуты забвения». Это, между прочим, прекрасно выражено ею в характерном стихотворении — «Страны Уныния».

Минуты уныния...  
Минуты забвения...

И мнится — в пустыне я...  
 Сгибаю колени я,  
 Молюсь — но не молится  
 Душа не согретая,  
 Стучу — не отворится,  
 Зову — без ответа я...  
 Душа словно тиной  
 Окутана вязкою  
 И страх, со змеиною  
 Колбочею ласкою,  
 Мне в сердце впивается.  
 И проклят отныне я...  
 Но нет дерзновения,  
 Кольцо замыкается...  
 О страны забвения,  
 О страны уныния!

Но почему же «блаженно-извращенным» сверхчеловекам не вырваться из этого замкнутого кольца своего существования, не покинуть этих стран уныния и, выражаясь языком Горького, не вмешаться в самую гущу жизни?

На это основательно замечает г. Брюсов:

Я действительности нашей не вижу,  
 Я не знаю нашего века...

На это нет у них надлежащего «дерзновения», о котором говорит г. Гиппиус, нет необходимой силы, нет «крыльев духа Твоего», выражаясь языком г. Мережковского. В такие-то «минуты уныния, минуты забвения» они и поворачиваются негодуяще спиной к окружающей их жизни. Им становится тогда даже «страшно видеть лицо людское». Они тогда, как уверяет Бальмонт, «видят взоры существ иных, с ними море и все морское...»

Это недовольство жизнью, этот протест Бальмонта против «размеренной чинной боязни» довольно удачно скрывает связь наших сверхчеловеков с их средой, и многим они кажутся не тем, что есть на самом деле. Чуть ли не потрясателями всех «основ»! Чуть ли не анархистами! Но эта связь легко устанавливается при рассмотрении самого характера протеста. Не говоря уже о том, что он проявляется только в «минуты уныния», он носит на себе всю печать сытого духа своей среды.

Когда певцам «избранных» становится «страшно видеть лицо людское», они протестуют тем, что удаляются или в «леса криптомерий», или к «снегам нетронутых вершин», витают «в дымке нежно-золотой», забираются «в зыбь болотного огня», к русалкам «с рыбьими плечами вместо рук» и т. д. Наркотизируя

свою фантазию, они создают себе выдуманную жизнь по своему образу и подобию, такую же бледную и убогую, и описывают именно то, чего «я не знаю, чего нет, чего не было на свете», выражаясь языком этой литературы. И тут уже нет границ и меры романтическому бреду! Такое убогое выражение «святого недовольства» вполне понятно: блаженно-извращенные наслаждения ведут неизбежно к преждевременному маразму, и в результате сверхчеловеки очень легко превращаются в обывателей меланхолически настроенных. Отсюда один уже говорит о том, что «утомленьем и могилой дышит путь» (Сологуб), другой жалуется на то, что, «бросив земные обманы, он правды небес не достиг», что у него в «30 лет» «душа измята, извращенна и пуста» (Бальмонт), третий, воспевавший дерзкий смех и прелесть зла, сознается, что он «без веры давно, без надежд и любви» (Мережковский), а четвертый даже просит не читать его произведений, этих, по его словам, «вымыслов диких, ярких и страшных картин», потому что они «ропот больных искушений, хохот и стоны менад» (Брюсов). И все в этом же духе. Но если у одних этот протест имеет своим источником еще не совсем отравленную душу и совесть в «атмосфере каких-то неясных духов», то у других, догматизировавших свою «душу андрогини», включительно до ненависти к родине, подобно г. Брюсову, этот протест против «размеренной чинной боязни» заключается только в том, что «воля к властвованию» избранных пока еще значительно стеснена. В самом деле, «быть жерновом для полудетских плеч, любя убить» и находить в том «красоту любви», как это полагает, напр., г. Бальмонт, по современным порядкам нигде не дозволено. Известна трагическая судьба одного из избранных — пушечного короля и блаженно-извращенного заводчика Круппа или хотя бы певца новых путей таких избранных Оскара Уайльда, напоминающего г. Бальмонту «красивую и страшную орхидею»: «Можно говорить, что орхидея — ядовитый и чувственный цветок, но это цветок, он цветет, он радуется». Г. Бальмонту «нравятся толпы магометан, оргийность первых пыток христиан», ему хочется «кинжальных слов и предсмертных восклицаний», г. Брюсов поистине в «кинжальных словах» делится со своими читателями тем чувством удовольствия, которое испытывал какой-то «я», истязая и мучая свою жену (рассказ «Теперь, когда я проснулся»), г. Лохвицкая смакует пытку в своей драме, по мнению г. Гиппиус, «жестокость — тоже бесконечность... она не нужна ни мне, ни тебе... она Ему нужна, как всякая бесконечность» («Сумерки духа»). Эти-то чувства жестокости и мучительства, составляющие основу новой души, представители

«нового направления в искусстве» и стараются культивировать в среде «избранных». В этом действительно их новое слово и существенное различие от того типа поэта, который самое свое бессмертие полагает исключительно в том, что «чувства добрые» в народе «лирой пробуждал», что в «свой жестокий век» прославлял свободу и «милость к павшим призывал».

Понятно, почему из атмосферы «размеренной чинной боязни» современности романтическое воображение певцов новой души чаще всего и охотнее всего переносится в далекую область истории, во времена средневековья, падения Рима... Их тяготение к этим эпохам бесправия вполне естественно, как естественно и жизненное наставление г. Брюсова, этого «поэта и волхва», как его именует г. Бальмонт, какому-то «бледному юноше» не жить настоящим: «Только грядущее область поэта». Это потому, что только в будущем г. Валерий Брюсов предчувствует «раба подавленную ярость и торжествующих многообразный сон». В произведениях новой поэзии мы видим, что этот нигилизм буржуазно-капиталистической среды, отвергающий всякие нормы и допускающий действительно «все дозволенным», не дерзает только касаться одного — «святой собственности». И если уважение к человеку и его достоинству сведено к нулю, так как допускается даже «быть жерновом для полудетских плеч», то к собственности, напротив, оно чрезмерно повышено и, соответственно этому, отразилось уже и на выработке эстетических эмоций.

Напр., г. Брюсов вполне искренно находит, что

Страсть, подчиненная *плате*,  
Так хороша в огнях хрусталей.  
И во лживом ее аромате  
Дыханье желанней полей...

Бесконечные «леса криптомерий», гуавы, орхидеи, мимозы, амариллис, арумы и проч., как наиболее соответствующие образу жизни певцов новых путей в «атмосфере каких-то неясных духов», вполне в то же время характеризуют самый вкус этой среды прекрасно то, что недоступно массе, что дорого. Отсюда пристрастие их к таким сочетаниям, вроде: «цветка *золотого* с лазурной каймой», «в дымке нежно-*золотой*», «светлее *звонкого червонца* и полновзвучней синих вод», «в печали бледной, *винно-золотистой*» и т. д. Картины родной жизни и природы не привлекают к себе внимания гг. «избранных» и именно потому, что они доступны, что, выражаясь в духе г. Брюсова, не могут быть «подчинены плате», но зато их писания пестрят экскурсив-

но-курортными впечатлениями. Тут и окутанная снегом холодная Швеция и пленительная Венеция, Рим и Карлсбад, палящая зноем Ява, Кисловодск и Неаполь, и проч., проч. Обыкновенно даже под произведением красуется обозначение той виллы или палаццо, где вдохновение осенило автора. Отождествляя атмосферу своего муравейника с жизнью вообще, поэты легко, подобно г. Бальмонту, приходят к тому заключению, что *правда* от людей удалась в луга и перелески:

Светит лугу — перелесью  
Жизнь рождает в темной мгле,

но и тут

Куда ни глянешь — зыбкая вода,  
Куда ни ступишь — скрытое теченье.  
Вот почему мы мертвы навсегда, —

замечает этот поэт, и тут — «страх со змеиною, колючею ласкою», употребляя выражение г. Гиппиус, нелегко оставляет сердце поэта.

Этот-то страх перед сознанием неизбежности своего животного, чисто физического уничтожения, проникающий их произведения, очень характерен для тех, у кого, кроме личной жизни, ничего не существует, у кого, как говорит г. Гиппиус, «душа без нежности, а сердце, как игла». Это и составляет основную черту той общественной силы, которая выступила в жизнь с «разбойничьими проектами» и наложила на окружающее такой яркий отпечаток своего духа. В этой среде поэзия, понятно, не может иметь значения колокола на «башне вечевой» «во дни торжеств и бедствий народных», объединяя людей в высшем идеале своего времени, это значило бы ее «сталкивать с вершин абсолюта до жалких случайностей жизни». Напротив, здесь, где каждый только сам за себя и все против всех, поэзия и служит выражением антисоциального «я» избранных — «вечной сущности их души». «Теперь у каждого из нас, — говорит г. Гиппиус, — отдельный, сознанный или не сознанный, но свой Бог, а потому так грустны, беспомощны и бездейственны наши одинокие, лишь нам и дорогие молитвы... другому, у которого заветное «свое» — другое, непонятно и чужда моя молитва». Но что такое этот «сознанный и не сознанный Бог» певцов буржуазно-капиталистического общества, что такое для них понятия «блаженное», «небесное», «бессмертное», «нездешнее», что такое их идеал — сверхчеловек и самое «я», мы уже видели. Значение этой литературы и заключается именно в том, что она говорит худшим

чувствам человека, что она будит дремлющие в каждом низменные, атавистические инстинкты и, оправдывая их, создает вокруг себя атмосферу глубокого общественного разложения и упадка. Такое глубоко реакционное течение общественной мысли тем более опасно, что оно проникает в мало устойчивое, еще формирующееся общество под флагом новых слов, новых идей и дорогих понятий, вроде «свобода», «освобождение», но заключающих в себе совершенно своеобразное содержание... Оно на руку всем темным силам, потому что стремится отклонить общественную мысль от серьезной общественной работы. Оно оправдывает «недорослей» современных условий и ставит их на пьедестал в собственных глазах; оно говорит им о том, что никакой науки и не существует, а есть «воскресающие учения средневековья: магия и попытки сношений с невидимыми»; оно указывает им «блаженно-извращенные наслаждения», потому что, по Бальмонту, «таков закон — иначе произвол», когда их разбирает охота жениться. Паразитам всякого рода и бессовестным эксплуататорам чужого труда говорит о том, что это так и должно быть, что это в порядке вещей, что им-то все и дозволено уже по одному тому, что они не люди презренной толпы, не масса, а немногие — «избранные». Создается общественное мнение нелепое и дикое: разнужданность, произвол и беспринципность возводятся в принцип.

Нам могут указать на то, что в произведениях декадентов мы совершенно игнорировали проявление обычного человеческого духа. Но для нас ведь и важно новое, а не старое направление в искусстве, т. е. то новое, которое и выражает именно новую душу современного поэта — «душу андрогини», когда поэт, по уверению Бальмонта,

Весь — и холод, и обман,  
И радугой пронизанный туман.

Отдельные и тем более немногочисленные произведения, созданные под влиянием известных минут, будут ли то «минуты уныния» или «минуты забвения», нисколько не меняют общей физиономии поэтов, которая вполне сохраняет тот «каторжника взор», которым г. Брюсов наделил Бальмонта.

Мы видели, как своеобразно эта «душа андрогини» реагирует на внешние впечатления, нам остается сказать только несколько слов о новых «мистических рифмах», в которые облачают тайнодействия своего духа современные «поэты и волхвы».

«Искусство, — замечает Тард, — не только умирает, но убивает себя; и если оно живет некоторое время, то лишь под усло-

вием внесения в себя беспрестанного разнообразия. То же относительно жизни». О каком же разнообразии может быть речь в этой литературе, когда целая область понятий, вдохновлявших наших лучших писателей, для этих поэтов является заповедной, когда душе поэта предоставлено реагировать на известного только рода впечатления в пределах «голубого алькова», с одной стороны, и «стран уныния» — с другой. Оттого-то так шаблонны их произведения; зная одного, вы уже знаете остальных; они как бы подражают друг другу и каждый самому себе. «Вполне естественные типы, — говорит Тард, — замечаемые под тем углом зрения и в том направлении, какое дает нашему взгляду и уму воспитание, привычки окружающей человеческой среды становятся как бы навязанными, в силу ли их интереса или постоянства. Они, наконец, наполняют зрительную память и не дают воображению, если оно старается от них отвлечься, никакого выхода, кроме преувеличения или чудовищных сочетаний этих вполне естественных существ». Эти-то «чудовищные сочетания», эти «образы без лиц, без протяженья и границ» весьма характерны для новой поэзии. Символы их — это бледные аллегории, чаще всего в духе «жестокых забав» избранных. Вот все эти шабаши ведьм г. Бальмонта или Лохвицкой, где дамы, между прочим, как уверяет поэтесса, бывают без костюмов, вампиры, сосущие у женщин кровь, и проч. И это понятно. Какой же смысл и что могут выражать символы там, где жизнь с ее красотой, с ее богатством творческих сил остается где-то в стороне? Какое может быть мирозерцание у тех, кто занят только своей душой «андрогины»? У них и не может быть никакого мирозерцания, у них есть только известные настроения. Ликующее, в духе «звериного гоготания», когда в них еще говорят силы животного бытия, и безотрадное — на почве пресыщения «клеопатрами и нимфами» здешних мест, когда дух разрушенного тела прежде времени уже смотрит в могилу. Вот в такие-то минуты поэты и пишут свои «символы» на крайне мрачные и, можно сказать, философские темы о том, что наша жизнь, по образному выражению Павла Ивановича Чичикова, — это долина, где поселились горести, что человек — это утлый пловец на лоне житейского моря и т. д. Эти и подобные им «вечные» истины они закидывают такой массой нелепых слов и вычурных выражений, что поневоле становится смешно — «словечка в простоте не скажут — все с ужимкой». Язык этих душ андрогини с массой варваризмов, неологизмов и просто искаженных слов представляет из себя какой-то литературный жаргон, какое-то французско-нижегородское наречие, на котором никогда не говорил



ни русский народ, ни его властители дум: Пушкин, Лермонтов или Некрасов, и разве говорят только те фонвизинские Иванушки, тело коих находится в России, а душа принадлежит французским бульварам. Все эти ничего не значащие для русского духа, для русского языка понятия так и пестрят в их произведениях — грифы, центавры, андрогинны, леды, менады, камеи, incub'ы, succub'ы... и наряду с ними — «скелетствует весна», «отодвигание смерти», «беспощадности радостей», «неизбежность измученных губ», «согревательно входишь», «стоял лучист», «черная благодать», «зеленая мечта», «голубоглазье веры» и т. д., и т. д.

Таким образом, «литература оттенков» легко превратилась на Прокрустовом ложе буржуазного духа в литературное гоголянье.

Вот, например, характерное стихотворение талантливого г. Бальмонта — «Химеры», помещенное в сборнике 1902 года «Северные цветы», имеющем, как известно, программное значение: в подобных сборниках помещается только то, что, с точки зрения представителей новой литературы, может быть названо поэзией. Мы приводим только некоторые места этого произведения, под которым, полагаем, не решился бы подписаться даже Тредьяковский. (Все оно слишком длинно.)

Высоко на парижской Notre Dame  
Красуются жестокие химеры,  
Они умно уселись по местам.  
В беспутстве соблюдая меры  
И гнусность доведя до красоты,  
Они могли бы нам явить примеры...

Святых легко смешаешь, а уродство  
Всегда фигурно, личность в нем видна,  
В чем явное пороков превосходство,  
Но общность между ними есть одна:  
Как крючья вопросительного знака,  
У всех химер изогнута спина.  
Скептически произрастаешь мрака,  
Шпионски-выжидательны они,  
Как мародеры возле бивуака.

Привет вам, сонмы страшных заблуждений,  
Ты, гений сводни, дух — единорог,  
Сподручник жадный ведьмовских радений!  
Гермафродит, глядящий на порок,  
Ты жабу давишь в попытке дум бессонных.  
Весь мир ты развратил бы, если б мог.

Концы ушей, продленно-заостренных,  
Стоят, как бы слышавши вдали  
Протяжный гул тобою соблазненных.  
Колдуний новых жабы привели.  
Но ты уж слышишь ропот осужденья,  
Для вас костры свирепые зажгли.  
И ты заклятый враг деторожденья  
Колдунья с птицей, демоны-враги,  
Препоны для простого наслажденья.  
Твое лицо — злоеущий лик Яги,  
Нагие десны алчны и беззубы,  
Твоя рука имеет вид ноги, —

И ты еще, уродина другая,  
Орангутанг и жалкий идиот,  
Ты скорчился, в тоске изнемогая.  
Убогий демон, выродок и скот,  
Герой мечты безумного Эдгара,  
Зачатый в этом мире в черный год.  
В тебе инстинкт горел огнем пожара,  
И ты двух женщин подло умертвил,  
Но в цвете крови странная есть чара.

Но всех прекрасней в свите Сатаны,  
Слияние ума и лицемерья,  
Волшебный образ некоей жены.  
Она венец и вместе с тем преддверье,  
Карикатура ей изжитых дум,  
Крылатый коршун, выщипавший перья.  
Взамену чувств у ней остался ум,  
Она ханжа в отшельнической рясе,  
Иссохший монастырский толстосум.  
Застывши в иронической гримасе,  
Она как бы блюдет их всех кругом.  
Ирония прилична в свинопасе.  
И все они венчают — Божий дом.

И вот, когда приходится перечитывать всю массу рифмованного вздора, крикливого, претенциозного, когда вспоминаешь, что за гогочащей формой большинства произведений скрывается и чаще всего неизмеримо более ужасное — «кровожадные гримасы» торгашеской жизни с жерновом для полудетских плеч, оценкой даже чувства на деньги, невольно хочется сказать такому певцу новых путей словами старого поэта:

Лавровый лист скупать ты на вес можешь,  
Но о венках лавровых не заботься.

(Жуковский—Камоэнс)

Когда же в этой массе вздора встречаются отдельные произведения, сверкающие блеском несомненного дарования, становится глубоко жаль зарытый в землю талант «рабами ленивыми и лукавыми». Это тогда, когда поэты, забыв о своей особой душе «андрогины», сходят на минуту с своего нового пути с его сомнительными волхвованиями и рифмованным тайнодействием и из «атмосферы каких-то неясных духов» общественного паразитизма становятся на почву действительной жизни. Новый именно путь и завел их в непролазные дебри «лесов криптомерий», где

Куда ни глянешь — зыбкая вода,  
Куда ни ступишь — скрытое течение.  
Вот почему мы мертвы навсегда, —

вполне правильно заключает поэт Бальмонт, и в этом лучшая характеристика «нового» направления.

